

Всеволод Гаршин

Денщик и офицер



*Часть сборника
Красный цветок (сборник)*



В.М.Гаршин Красный цветок //Эксмо, Москва, 2008

ISBN: 978-5-699-27370-6

FB2: "Chernov2 " <chernov@orel.ru >, 19 November 2008, version 1.0

UUID: 768c369b-0690-102c-99a2-0288a49f2f10

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Всеволод Михайлович Гаршин

Денщик и офицер

«– Разденься! – сказал доктор Никите, неподвижно стоявшему устремив глаза в неизвестную далекую точку. Никита вздрогнул и торопливо начал расстегиваться...»

Всеволод Михайлович Гаршин Денщик и офицер

— Разденься! – сказал доктор Никите, неподвижно стоявшему устремив глаза в неизвестную далекую точку.

Никита вздрогнул и торопливо начал расстегиваться.

– Живей, братец! – нетерпеливо крикнул доктор. – Видишь, сколько вас здесь.

Он показал на толпу, наполнявшую присутствие.

– Поворачивайся... очумел... – заговорил в помощь ему унтер-офицер, приставленный к мере.

Никита заторопился, сбросил рубашку и штаны и остался совершенно нагим. Нет ничего прекраснее человеческого тела, – множество раз было говорено кем-то, когда-то и где-то; но если бы тот, кто в первый раз произнес это изречение, жил в семидесятых годах текущего столетия и увидел голого Никиту, он, наверно, взял бы свои слова назад.

Перед присутствием по воинской повинности стоял низенький человек, с несоразмерно большим животом, унаследованным от десятков поколений предков, не евших чистого хлеба, с длинными, вялыми руками, снабженными огромными черными и заскорузлыми кистями. Его длинное неуклюжее туловище поддерживали очень короткие кривые ноги, а всю фигуру венчала голова... Что это была за голова! Личные кости были развиты совершенно в ущерб черепу; лоб узок и низок, глаза, без бровей и ресниц, едва прорезывались; на огромном плоском лице сиротливо сидел крошечный круглый нос, хотя и задранный вверх, но не только не придававший лицу выражения высокомерия, а, напротив, делавший его еще более жалким; рот, в противоположность носу, был огромен и представлял собою бесформенную щель, вокруг которой, несмотря на двадцатилетний возраст Никиты, не сидело ни одного волоска. Никита стоял, понурив голову, сдвинув плечи, повесив плетьюми руки и поставив ступни носками немного внутрь.

– Обезьяна, – сказал полненький живой

полковник, воинский начальник, наклонясь к молодому и тощему, с красивой бородой, члену земской управы. – Совершенная обезьяна.

– Превосходное подтверждение теории Дарвина, – процедил член, на что полковник одобрительно помычал и обратился к доктору.

– Да что, конечно, годен! Парень здоровый, – сказал тот.

– Но только в гвардию не попадет. Ха-ха-ха! – добродушно и звонко закатился полковник; потом, обратись к Никите, прибавил спокойным тоном: – Через неделю явись. Следующий, Парфен Семенов, раздевайся!

Никита начал мешкотно одеваться, руки и ноги не слушались его и не попадали туда, куда им следовало. Он шептал что-то про себя, но что именно – должно быть, и сам не знал; он понял только, что его признали годным к службе и что через две недели его погонят из дому на несколько лет. Только одно это и было у него в голове, только одна эта мысль и пробивалась сквозь туман и оцепенение, в котором он находился. Наконец он справился

с рукавами, опоясался и пошел из комнаты, где происходило освидетельствование. Старик лет шестидесяти пяти, маленький, совсем согнутый, встретил его в сенях.

– Забрили? – спросил он.

Никита не отвечал, и старик понял, что забрили, и не стал расспрашивать. Они вышли из управы на улицу. Был ясный, морозный день. Толпа мужиков и баб, приехавших с молодежью, стояла в ожидании. Многие топтались и хлопали руками; снег хрустел под лаптями и сапогами. Пар валил от закутанных голов и маленьких лохматых лошадеенок; дым поднимался из труб городка прямыми высокими столбами.

– Взяли, Иван, твоего-то? – спросил старика дюжий мужик в новой дубленке, большой бараньей шапке и хороших сапогах.

– Взяли, Илья Савельич, взяли. Захотел Господь обидеть...

– Что ж ты теперь делать будешь?

– Что ж тут делать... Воля Господня... Один в семье был помощник, и того нет...

Иван развел руками.

– Тебе бы его раньше усыновить, – внуши-

тельно сказал Илья Савельич. – Вот парень и был бы цел.

– Кто ж его знал! Ничего нам этого не известно. Опять же он у меня заместо сына, один работник в семье... Думал так, что господа уважат. «Ничего, говорит, невозможно, потому – закон такой». Как же, ваше благородие, говорю, закон, когда у него жена тяжелая? Опять же мне, говорю, ваше благородие, одному невозможно... «Ничего, говорит, мы этого, старичок, не знаем, а по закону, как есть он сирота, одиночка – должен на службу. Кто виноват, говорит, что у него жена и сын, вы бы еще пятнадцатилетних венчали». Я ему еще сказать хотел, так он и слушать не стал. Осерчал. «Отстань, говорит, тут и без тебя дела много»... Что ты станешь делать... Божья воля!

– Парень-то он у тебя смирный.

– Смирный да работающий, и боже мой! Слова супротивного от него не слышал! Я, Илья Савельич, так скажу: лучше родного он мне был. То-то и горе наше... Бог послал, Бог и взял... Прощайте, Илья Савельич, вашего-то, поди, не скоро осмотрят?

– Как начальство!.. Но только моего годным признать нельзя – хром.

– Ваше счастье, Илья Савельич.

– Побойся ты Бога, что ты городишь! Эко счастье, что сын хромой уродился.

– Что ж, Илья Савельич, оно к лучшему выходит: все ж дома парень останется. Прощайте, будьте здоровы.

– Прощай, брат... Что ж ты должок-то, забываешь, что ль?

– Никак невозможно, Илья Савельич, то есть – вот как, никак нельзя! Уж вы малость пообождите. Горе-то у нас такое!

– Ну, ладно, ладно, поговорим еще. Прощай, Иван Петрович.

– Прощайте, Илья Савельич, будьте здоровы.

Никита в это время отвязал от тумбы лошадь; они с приемным отцом уселись в сани и поехали. До их деревни было верст пятнадцать. Лошаденка бойко бежала, взбивая копытами к омыя снега, которые на лету рассыпались, обдавая Никиту. А Никита улегся около отца, завернувшись в армяк, и молчал. Старик раза два заговорил с ним, но он не от-

ветил. Он точно застыл и смотрел неподвижно на снег, как будто ища в нем точку, забытую им в комнатах присутствия.

Приехали, вошли в избу, сказали. Семья, состоявшая, кроме мужчин, из трех баб и троих детей, оставшихся от умершего в прошлом году сына Ивана Петровича, начала выть. Парасковья, Никитина жена, сомлела. Бабы выли целую неделю.

Как прошла эта неделя для Никиты – известно одному Богу, потому что он все время молчал, храня на своем лице одно и то же застывшее выражение покорного отчаяния.

Наконец все было кончено – Иван свез новобранца в город и сдал его на сборный пункт. Через два дня Никита с партией новобранцев шагал по сугробам большой дороги в губернский город, где стоял полк, в который он был назначен. Одет он был в новый коротенький полушубок, в шаровары из толстого черного сукна, новые валенки, шапку и рукавицы. В его котомке, кроме двух перемен белья и пирогов, лежала еще тщательно завернутая в платок рублевая бумажка. Всем этим наделил своего приемыша Иван Петрович,

умоливший Илью Савельича дать ему еще займы, чтобы обрядить Никиту на службу.

* * *

Никита оказался самым плохим молодым солдатом. Дядька, которому его отдали для первоначального обучения, был в отчаянии. Несмотря на всевозможные вразумления, делаемые им Никите, в числе которых некоторую роль играли подзатыльники и затрещины, его ученик никак не мог вполне постигнуть даже нехитрую премудрость сдваиванья рядов. Фигура Никиты, наряженного в солдатское платье, была самая жалкая; во фронте то у него выпячивался живот, то, подбирая его, он выдавался вперед всей грудью, наклоняясь всем телом и рискуя шлепнуться лицом о землю. Как ни билось начальство, оно не могло сделать из Никиты даже самого посредственного фронтовика. На ротных ученьях командир, разругав Никиту, распекал взводного унтер-офицера, а взводный взыскивал с того же Никиты. Взыскание состояло в назначении на дневальство не в очередь. Скоро, однако, унтер-офицер догадался, что лишнее дневальство было для Никиты не наказанием, а

удовольствием. Он был прекрасный работник, и исполнение обязанностей дневально-го, состоявших в носке дров и воды, топке печей и, главным образом, в содержании казарм в чистоте, то есть в непрерывном шарканье мокрой шваброй по полу, было ему по душе. Во время работы на нем, по крайней мере, не лежало обязанности думать, как бы не сбиться и не повернуться налево, когда командуют направо, и, кроме того, он чувствовал себя совершенно свободным от страшных вопросов по велемудрой науке, называемой у солдат словесностью: «Что есть солдат?», «Что есть знамя?».

Никита очень хорошо знает, что такое солдат и что такое знамя; он готов со всевозможным усердием исполнять свои солдатские обязанности и, вероятно, отдал бы жизнь, защищая знамя; но изложить по-книжному, обстоятельно, как требует того словесность, что такое знамя, – выше его сил.

– Знамя есть, которое хорю... хоруг... – лепечет он, стараясь как можно более вытянуть в струнку свое неуклюжее тело, подняв подбородок кверху и моргая лишенными ресниц

веками.

– Дурак! – кричит чахоточный унтер-офицер, обучающий словесности. – Что вы, аспиды, со мной делаете?.. Долго ли мне с вами мучиться, идолы вы, мужичье сиволапое? Тьфу! Который раз тебе повторять надо? Ну, говори за мной: знамя есть священная хоругвь...

Никита не может повторить даже этих четырех слов. Грозный вид унтер-офицера и его крик действуют на него ошеломляющим образом; в ушах у него звенит; в глазах прыгают знамена и искры; он не слышит мудреного определения знамени; его губы не двигаются. Он стоит и молчит.

– Говори же, черт тебя возьми; знамя есть священная хоругвь...

– Знамя...

– Ну?..

– Хорюг... – продолжает Никита. Голос его дрожит, на глазах слезы.

– Есть священная хоругвь, – кричит взбешенный унтер-офицер.

– Священная, которая...

Унтер-офицер бежит из угла в угол, плюет

и ругается. Никита стоит на том же месте и в той же позе, следя глазами за рассерженным начальником. Он не возмущен бранью и оскорблениями и только всею душою горюет о своей неспособности «заслужить» начальству.

– На три дневальства не в очередь! – говорит упавшим голосом искричавшийся, измученный унтер-офицер, и Никита благодарит Бога, избавившего его, хоть на время, от ненавистой «словесности» и ученья.

Когда начальство заметило, что наказание, налагаемое им на Никиту, не только не причиняет ему огорчения, а даже доставляет радость, – Никита начал сидеть под арестом. Наконец, испробовав все средства для исправления несчастного, на него махнули рукой.

– С Ивановым, ваше благородие, ничего не поделаешь, – говорит почти каждый день на утреннем докладе ротному командиру фельдфебель.

– С Ивановым?.. Да, да... Что же он такое делает? – отвечает капитан, сидящий в халате, с папироскою, и прихлебывающий чай из стакана в мельхиоровом подстаканнике.

– Ничего, ваше благородие, не делает, человек он смиренный, только понятия у него ни к чему нет.

– Попробуй как-нибудь, – говорит ротный, задумчиво выпустив изо рта колечко табачного дыма.

– Пробовали, ваше благородие, да ничего не выходит.

– Ну, так что ж мне с ним делать? Ведь согласись, Житков, я не бог. А? Ну, дурак, так что же с ним поделаешь?.. Ну, ступай.

– Счастливо оставаться, ваше благородие.

Наконец ротному надоело выслушивать каждый день жалобы фельдфебеля на Никиту.

– Отстань ты с своим Ивановым! – крикнул он. – Ну, не выводи его на ученье, плюнь на него. Сделай с ним, что хочешь, только не лезь с ним ко мне...

Фельдфебель попытался было устроить перевод Никиты Иванова в нестроевую роту, но там и без того было много людей. Отдать его в денщики тоже не удалось, потому что у всех офицеров денщики уже были. Тогда на Никиту навалили черную работу, оставив все по-

пытки сделать из него солдата. Так он прожил год, до тех пор, пока в роту не был назначен новый субалтерн-офицер, прапорщик Стебельков. Никиту отдали к нему «постоянным вестовым», то есть попросту денщиком.

* * *

Александр Михайлович Стебельков, новый хозяин Никиты, был очень добрый молодой человек, среднего роста, с бритым подбородком и великолепно вытянутыми, как острые палочки, усами, которых он иногда не без удовольствия слегка касался левою рукою. Он только что кончил курс юнкерского училища, не выказав в течение пребывания в нем особенного пристрастия к наукам, но зато в совершенстве познав строевую службу. Он был совершенно счастлив в своем настоящем положении. Два года, проведенные в училище на казенном содержании, под строгим надзором начальства, совершенное отсутствие знакомых, где можно было бы отдохнуть в праздничные дни от казарменной жизни училища, ни копейки собственных денег, с помощью которых он мог бы доставить себе какое-нибудь развлечение, – все это слишком утомило

его. И теперь, увидев себя офицером, человеком, получающим до сорока рублей в месяц содержания, имеющим команду над полуротой солдат и в полном своем распоряжении денщика, он пока не желал ничего более. «Хорошо, очень хорошо», – думал он, засыпая, и, просыпаясь, прежде всего вспоминал, что он уже не юнкер, а офицер, что ему уже не надо тотчас же вскакивать с постели и одеваться, под опасением нагоняя от дежурного офицера, а можно еще поваляться, понежиться и выкурить папиросу.

– Никита! – кричит он.

Никита, в полинялой розовой ситцевой рубашке, в черных суконных штанах и неизвестно где добытых им старых глубоких резиновых калошах на босую ногу, появляется в дверях, ведущих из единственной комнаты квартиры Стебелькова в переднюю.

– Холодно сегодня?

– Не могу знать, ваше благородие, – робко отвечает Никита.

– Поди погляди и скажи мне.

Никита немедленно отправляется на мороз и по прошествии минуты снова является

В дверях передней.

– Дюже холодно, ваше благородие.

– Ветер есть?

– Не могу знать, ваше благородие.

– Дурак, как же ты не можешь знать? Ведь был на дворе...

– На дворе нетути, ваше благородие.

– «Нетути, нетути»!.. Поди на улицу!

Никита идет на улицу и приходит с докладом, что «ветер здоровый».

– Ученья не будет, ваше благородие, Сидоров сказывал, – осмеливается дополнить он.

– Хорошо, ступай, – говорит Александр Михайлович.

Он свертывается в комок, натягивает на себя теплое байковое одеяло и в полудремоте начинает мечтать под треск ярко горящей печки, затопленной Никитою. Юнкерская жизнь представляется ему каким-то неприятным сном. «Ведь вот как недавно это было: бьет барабан над самым ухом, вскакиваешь, дрожишь от холода...» За этими воспоминаниями встают другие, тоже не особенно приятные. Бедность, жалкая обстановка мелких чиновников, всегда утрюмая мать, высокая

тощая женщина с строгим выражением на худом лице, постоянно точно будто бы говорившем: «пожалуйста, я не позволю всякому оскорблять меня!» Куча братьев и сестер, ссоры между ними, жалобы матери на судьбу и брань между нею и отцом, когда он являлся пьяным... Гимназия, в которой было так трудно учиться, несмотря на все старания; товарищи, преследовавшие его и неизвестно по какой причине называвшие его крайне обидным названием – «селедкою»; невыдержанный экзамен из русского языка; тяжелая, унижительная сцена, когда он, выключенный из гимназии, пришел домой весь в слезах. Отец спал на клеенчатом диване пьяный, мать возилась в кухне у печки, готовя обед. Увидя Сашу, входящего с книжками и в слезах, она поняла, что случилось, и набросилась на мальчугана с ругательствами, потом кинулась к отцу, разбудила его, втолковала ему, в чем дело, и отец побил мальчика.

Саше было тогда пятнадцать лет. Через два года он поступил на правах вольноопределяющегося в военную службу, а к двадцати годам был уже самостоятельным человеком,

прапорщиком пехотного полка...

«Хорошо, – думается ему под одеялом. – Сегодня вечером в клуб... танцы...»

И представляется Александру Михайловичу зала офицерского клуба, полная света, жары, музыки и барышень, которые сидят целыми клумбами вдоль стен и только ждут, чтобы ловкий молодой офицер пригласил на несколько туров вальса. И Стебельков, щелкнув каблуками («жаль, черт возьми, шпор нет!»), ловко изгибается пред хорошенькою майорскою дочерью, грациозно развесив руки, говорит: «permettez»[1] и майорская дочь кладет ему ручку около эполета, и они несутся, несутся...

«Да, это не то, что – селедка. И как глупо; ну почему я селедка? Вот те-то, не селедки, там где-нибудь на первом курсе в университете сидят, голодают, а я... И чего это они непременно в университет? Положим, что жалованья судебный следователь или доктор получает побольше моего, но ведь сколько времени нужно добиваться... и все на свой счет жи-ви. То ли дело у нас: только поступи в училище, а там уж сам поедешь; если будешь хоро-

шо служить, то можно и до генерала... Ух, тогда задал бы я!..» Александр Михайлович и сам не высказал себе, кому бы именно он задал, но воспоминание о «не селедках» в это мгновение мелькнуло у него в душе.

– Никита, – кричит он, – чай у нас есть?

– Никак нет, ваше благородие, весь вышел.

– Сходи, возьми осьмушку.

Он достает из-под подушки новенький кошелек и дает Никите деньги.

Никита идет за чаем. Александр Михайлович продолжает свои размышления, и пока Никита вернулся с чаем, барин уже успел снова уснуть.

– Ваше благородие, ваше благородие! – шепчет Никита.

– Что? А? Принес? Хорошо, я сейчас встану... Давай одеваться.

Александр Михайлович ни дома, ни в училище никогда не одевался иначе, как сам (исключая, разумеется, младенческого возраста), но, получив в свое распоряжение денщика, он в две недели совершенно разучился надевать и снимать платье. Никита натягивает на его ноги носки, сапоги, помогает надевать

брюки, накидывает ему на плечи летнюю шинель, служащую вместо халата. Александр Михайлович, не умываясь, садится пить чай.

Приносят литографированный приказ по полку, и Стебельков, прочитывая его от первой строчки до последней, с удовольствием видит, что его очередь идти в караул еще далеко. «А это еще что за новости?» – думает он, читая:

«В видах поддержания уровня знаний господ офицеров, предлагаю штабс-капитану Ермолину и поручику Петрову 2-му с будущей недели начать чтение лекций – первому по тактике, а второму по фортификации. О времени чтения, имеющего происходить в зале офицерского собрания, будет мною объявлено особым по полку приказом».

«Ну, вот уже это бог знает что: ходить слушать тактику да фортификацию! – думает Александр Михайлович. – Мало они в училище надоели! Да и ничего нового не скажут, будут читать по старым запискам...»

Прочитав приказ и кончив пить чай, Александр Михайлович приказывает Никите убраться самовар и садится набивать папиросы,

продолжая бесконечные размышления о своем прошлом, настоящем и будущем, которое сулит ему если не генеральские, жирные, то по крайней мере штаб-офицерские, густые эполеты. А когда все папиросы набиты, он ложится на постель и читает «Ниву» за прошлый год, рассматривая давно уже пересмотренные картинки и не пропуская ни одной строчки текста. Наконец от долгого лежания и чтения «Нивы» у него начинает мутить в голове.

– Никита! – кричит он.

Никита вскакивает с постланной на полу передней у печки шинели, служащей ему постелью, и кидается к барину.

– Посмотри, который час... Нет, лучше дай мне сюда часы.

Никита бережно берет со стола серебряные часы с цепочкой из нового золота и, подав их барину, снова удаляется в переднюю на свою шинель...

«Половина второго... Не пора ли идти обедать?» – думает Стебельков, заводя часы бронзовым ключиком, который он только что приобрел и в головке которого вставлена ма-

ленькая фотографическая картинка, видимая в увеличенном виде, если рассматривать ее на свет. Александр Михайлович смотрит картинку, прищулив левый глаз, и улыбается. «Какие славные штучки нынче делают, право! И как ухитряются... в таком маленьком виде? – приходит ему в голову. – Однако нужно идти...»

– Никита! – кричит он.

Никита появляется.

– Давай умываться.

Никита приносит в комнату некрашенный табурет с поставленной на нем лоханкой с ручкомойником. Александр Михайлович начинает умываться. Чуть только касается его рук ледяная вода, он вскрикивает:

– Сколько раз я тебе, болван, говорил, чтобы ты оставлял воду на ночь в комнате! Ведь так рожу заморозишь. . дурак. .

Никита молчит в полном сознании вины и усердно подливает воду на ладони рассердившегося господина.

– Сюртук вычистил?

– Точно так, ваше благородие, вычистил, – говорит Никита и подает барину висевший

на спинке стула новенький сюртук с блестящими золотыми погонами, украшенными цифрой и одной серебряной звездочкой.

Прежде чем надеть его, Александр Михайлович внимательно рассматривает темно-зеленое сукно и находит пушинку.

– Это что такое? Это разве значит чистить? Так ты исполняешь свои обязанности? Пошел, дурак, почисть еще.

Никита идет в переднюю и начинает извлекать из щетки, при помощи сюртука, звуки, известные под названием шурханья. Стебельков, при помощи складного зеркала в желтой деревянной оправе и *rommade hongroise*[2], начинает доводить свои усы до возможного совершенства. Наконец усы приведены в полный порядок, а шурханье в передней все еще продолжается.

– Давай сюртук, не до второго же пришествия будешь ты его чистить... Еще опоздаешь из-за тебя, дурак...

Он внимательно застегивает сюртук, потом надевает саблю, калоши, шинель и выходит на улицу, гремя ножнами по мерзлым доскам тротуара.

Остальная часть дня проходит в обеде, чтении «Русского инвалида», разговорах с товарищами о службе, производстве, содержании; вечером Александр Михайлович отправляется в клуб и мчится «в вихре вальса» с майорской дочерью. Он возвращается домой поздно вечером, усталый, с легким опьянением от нескольких рюмочек, выпитых во время вечера, но довольный... Жизнь разнообразится только учениями, караулами, летом лагерями, иногда маневрами и редко лекциями по фортификации и тактике, которых нельзя не посещать. И тянется она годы, не оставляя на Стебелькове никаких следов; только цвет лица изменяется, да лысинка начинает пробиваться, да вместо одной звездочки на погонах появляются две, потом три, потом четыре...

Что же делает в это время Никита? А Никита большею частью лежит на своей шинельке у печки, вскакивая на беспрестанные требования барина. Утром у него довольно работы: нужно затопить печь, поставить самовар, принести воды, вычистить сапоги, платье, одеть барина, когда встанет, вымести комнату, прибрать ее. (Правда, последнее не

требует много времени: вся мебель в комнате состоит из кровати, стола, трех стульев, этажерки и чемодана.) Все ж таки есть для Никиты хоть призрак дела. По уходе барина начинается бесконечный день, состоящий почти в обязательном ничегонеделанье, и прерывается только походом в казарму за обедом с ротной кухни. Живя еще в казарме, Никита научился немного чеботарить: класть заплатки, подкидывать подметки, набивать подборы; переселившись к Стебелькову, он вздумал было продолжать свое ремесло, пряча мешок за двери в сенях, как только раздавался стук в двери. Барин, несколько дней замечавший, что в передней сильно пахнет черным товаром, доискался причины запаха и задал Никите жестокую головоломку, после чего приказал, «чтобы этого никогда не было». Тогда Никите осталось только лежать на своей шинельке и думать. И он лежал на ней и думал целые вечера, засыпая под конец до той минуты, когда раздавался стук в двери, возвещавший приход барина; Никита раздевал его, и скоро маленькая квартирка погружалась во мрак; офицер и денщик спали.

Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снег в окно. И кажется он спящему прапорщику Стебелькову громом бальной музыки; видит он во сне ярко освещенную залу, такую, какой никогда не видал, полную незнакомого ему разодетого народа. Но он не чувствует себя смущенным, а напротив – героем вечера. Тут и знакомое ему общество; оно относится к нему не так, как до сих пор, а с каким-то восторгом: полковник, вместо того чтобы подать ему два пальца, жмет ему руку обеими толстыми руками; майор Хлобуцин, всегда косо смотревший на его ухаживанье за дочкой, сам подводит ее к нему, смиренно кланяясь. Что он сделал великого, за что его возносят, он не знает, но что-то он сделал, это несомненно. Он смотрит на свои плечи и видит на них генеральские эполеты. Музыка гремит, пары несутся, и он сам несутся куда-то все дальше и дальше, все выше и выше. Блестящая зала далеко от него и кажется ему уже только маленькой светлой точкой. Вокруг него множество людей в разных мундирах; все спрашивают его приказаний. Он не знает,

о чем они спрашивают, но отдает приказания, ординарцы мчатся к нему и от него. Гром пушек слышен вдали; звучат марши; полки идут за полками. Все движется куда-то вместе с ним; пушки гремят ближе, и Стебелькову становится страшно. «Убьют!» – думает он. И страшный крик раздается со всех сторон; бегут на него странные, уродливые и свирепые люди, каких он никогда не видывал. Они все ближе и ближе; сердце Стебелькова сжимается невыразимым ужасом, какой бывает только во сне, и он кричит: «Никита!»

Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снега в окно. И кажется он спящему Никите настоящим ветром, непогодю. Снится ему, что лежит он в своей избе, один; около него нет ни жены, ни отца, никого из семьи. Он не знает, как он попал домой, и боится, не убежал ли он из полка. Чудится ему, что за ним наряжена погоня, и чувствует он, что она близко, и хочет он бежать и спрятаться куда-нибудь, но не может шевельнуть ни одним членом. Тогда он кричит, и вся изба наполняется людьми; всё деревенские знакомые, но лица у них какие-то чудные. «Здравствуй, Ни-

кита, – говорят ему. – Твоих, брат, никого нету, всех Бог прибрал! Все померли. Вот они, глянь-ка сюда!» И Никита видит всю свою семью в толпе: и Иван, и жена, и тетка Парасковья, и ребятишки. И понимает он, что хотя они стоят вместе со всеми, но уже мертвые, и все деревенские тоже мертвые: оттого они так чудно и смеются. Идут они к нему, хватают его, но он вырывается и бежит по сугробам, спотыкаясь и падая; за ним гонятся уже не мертвые, а прапорщик Стебельков с солдатами. И он бежит все дальше и дальше, а прапорщик кричит ему: «Никита, Никита, Никита!..»

– Никита! – действительно кричит Стебельков.

Проснувшийся Никита вскакивает и оцупью идет в комнату, шлепая босыми ногами.

– Что ты, черт тебя возьми, смеешься надо мной, что ли? Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты клал около меня спички! И дрыхнет как, болван! Полчаса зову, не дозовусь. Дай огня!

Заспанный Никита шарит по столу и окнам и находит спички. Он зажигает свечу,

вставленную в медный позеленевший подсвечник, и, щурясь, подает ее барину. Александр Михайлович выкуривает папироску, и через четверть часа офицер и денщик снова спят глубоким сном.

1880 г.

Примечания

Позвольте (*фр.*).

[^^^]

2

Венгерской помады (*фр.*).

[^^^]